

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА	5
МОЙ ПЕРВЫЙ МЕРТВЫЙ.....	7
ПОЧТАЛЬОНШИН СЫН КАДИК (КОЛЬКА).....	12
«РАДОСТЬ-СТРАДАНИЕ — ОДНО...».....	21
ГИПСОВЫЙ ПИОНЕР И ЕГО КОМАНДА.....	42
ЛАБАРДАН	59
ТРУП РОЗОВОЙ СОБАКИ	71
«ИНДУС» С КАРАИМОМ.....	84
ВЕНЕЧКА	100
ЛИЛЯ БРИК И ПОСЛЕДНИЙ ФУТУРИСТ	104
МАЛЕНЬКИЙ САЛЬВАДОР.....	118
ВЕТХИЙ БРОДСКИЙ — ВЕЛИКИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ПОЭТ.....	127
ДЕВУШКА ЭПОХИ ДЖАЗА	143
ЮРИЙ ЕГОРОВ'С ФОНДЕЙШН	149
ОБИТАТЕЛИ КВАРТИРЫ НА КОЛУМБУС-АВЕНЮ	158
СЛОМАННЫЙ ПТЕНЕЦ И ЛУННЫЙ ЧЕХ.....	171
«ТАМ ВДАЛИ, ЗА БУГРОМ...»	183
ГЕРОИ МОИХ КНИГ	196
БИТНИКИ И ДРУГИЕ НАБОКОВЫ.....	206
«ВЫСШАЯ» БУРЖУАЗИЯ.....	223
МАТЬЮ ГАЛЕЙ И НАТАЛИ САРРОТ.....	238
ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ	245

МАЛЬЧИКИ-МАЖОРЫ, ЛЕТЧИКИ-ПИЛОТЫ	266
СМЕРТЬ НА МОРСКОМ КУРОРТЕ	274
БАЛКАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ	290
ТРУП, НАЙДЕННЫЙ В ПАРИЖСКИХ КУСТАХ	300
РЕБЯТА ВОКРУГ КНЯЗЯ ЛАЗАРЯ... ..	310
БАТЬКА-КОМБАТ	328
«ДА, Я С НИМИ»	346
ОНИ БУДУТ ЖДАТЬ НАС ПОД СВОДАМИ НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ВАЛГАЛЛЫ... ..	361

Предисловие автора

Я начинаю эту книгу в отвратительный дождливый день 29 июня 2000 года в северном городе Москве. Скучное и без того лето в этом году ампутировано майскими холодами и июньскими дождями. Вот в таком мрачном окружении я и начинаю «Книгу мертвых», как бы переключку тех, кого я знал и кто в свое время надолго или ненадолго побывал в моей жизни.

Нельзя сказать, что я хочу писать книгу. После «Анатомии героя» мне никак не хочется писать книги. Но мне нужны средства, чтобы... Впрочем, я не скажу вам, на какое предприятие мне нужны средства. А все обещания финансирования, данные мне, до сих пор не выполнены. Поэтому придется заставить работать мертвых. Признаюсь, что не испытываю особенных эмоций при виде мертвых. В лице мертвых мы всегда жалеем себя, оплакиваем куски своей жизни и боимся прямо направленного на нас жестокого взгляда рожденной вместе с нами нашей Смерти.

Я не жалею себя, считаю свою жизнь уже удавшейся свыше всех ожиданий, к тому же уже обещается, впереди проглядывается экзотическое, крайне интересное продолжение.

В «Книге мертвых» есть красавицы, чудовища и несколько героев. Одно только их присутствие уже обрекает книгу на успех. Издатели будут довольны, они вернут средства, заплаченные мне, и сделают еще денег.

В этой книге только индивидуальные мертвые.

В эту книгу не вошли сотни трупов или тысячи. Семь трупов из санитарной машины, разбомбленной на моих глазах на тенистой горной дороге в Боснии. Мы выкопали для

них могилы в тяжелом грунте. Я просто не знаю их имен. Не вошли несколько сотен трупов из Центра опознания близ Вуковара, я видел их в ноябре 1991 года, никто не знал их имен. Не вошли сюда трупы погибших моих товарищей по фронту в Республике Книнской Краине, их судьба, как и судьба всего трехсотпятидесятитысячного сербского населения, неизвестна, я надеюсь, что живых больше, чем мертвых. В эту книгу не вошли... имена тех, кто еще не умер, но непременно умрет.

Мой первый мертвый

— Мать на тебя жалуется, — сказал он. — Работу ты бросил, — и замолчал. — На хера ты к бандитам лезешь, Эд? Мать обижаешь. Учился бы, стихи писал, в Москве вот Литературный институт есть... Поступил бы.

— А ты сам чего никуда не поступил? А то других учишь, а сам...

Мы стоим на балконе квартиры Сашки Ляшенко. На дворе 1961 год, весна. Год назад мы окончили десятилетку. Витька Проуторов был мой бывший одноклассник. Другого бы я послал, но Витьку я уважал. Я позволял ему «лечить» меня.

— У меня здоровья для института не хватит, — сказал он спокойно. — У меня мой клапан завтра может заклинить — и до свидания всем. Мне нагрузка такая в пять лет непосильная. Если бы мне здоровья, как у тебя, я бы так по жизни рванул! — Он горько улыбнулся.

Витька был самый красивый мальчик во всей 8-й средней. Русская мама и какой-то неизвестный чурка дали ему бархатные глаза, высокую гибкую фигуру, очень черные прямые волосы, бледное, чуть с желтизной лицо. К несчастью, дали еще синие круги под глазами и этот нездоровый клапан. Он играл на гитаре и аккордеоне. В оркестре 8-й средней школы, где удивительно, но все ребята были из нашего класса, он играл на аккордеоне, Сашка Тищенко на гитаре, Сашка Ляхович на барабанах и тарелках, вот только не помню, кто играл на трубе. Их коронный номер был вальс «Под небом Парижа». Боже, как я их вспоминал потом, очутившись вдруг под этим самым небом... «Sous la ciel de Paris»... Все 14 лет в Париже я их вспоминал время от времени. Особенно его, тогда уже мертвого.

Он жил в частном секторе возле старого еврейского кладбища. У них был небольшой домик, а рядом — недостроенный обширный новый. Туда ребята ходили репетировать. В комнате на полу стоял проигрыватель и лежали пластинки. Ну, конечно, виниловые, какие еще. Других тогда не было. Только начали появляться долгоиграющие. Что там у него лежало? Помню медоточивое польско-русское «Пчелка-бабочка»:

Утром сердце свое пчела
Этой бабочке отдала,
И они в голубую высь
Вместе с ней понеслись!

Потом модная тогда:

Тот, кто рожден был у моря,
Тот полюбил навсегда
Белые мачты на рейде,
В дымке морской города...

Кроме этого, эпоха характеризовалась переводными песенками, исполняемыми Великановой или Пьехой.

Когда шумит ночной Марсель
И льется золотистый эль,
Среди парней идет она,
Рита, Рита, из Панама.

Еще «Джонни» — очевидно, прообразом послужил «Джонни» Эдит Пиаф, но слова были грубо переиначены:

Джонни, ты меня не знаешь,
Ты мне встреч не назначаешь.

В целом мире я одна.
Знаю, как тебе нужна,
Потому что ты мне нужен.

И Витькина мама, и отчим его относились к его гостям радушно. Может быть, потому, что Витька был обречен? Думаю, что вообще они были такие либеральные от природы. У Проуторовых всегда хорошо пахло, черт его знает чем, какой-то мастикой для полов, может быть, но не было убогого запаха еды и старых тряпок, характерного для советских квартир, да и для нынешних русских. Мама его была медсестра, а вот кто был отчим, я, за давностью лет, не помню. Скромный мужик в клетчатой рубашке. Они очень гордились Витькиными музыкальными способностями. Высокий, темные брюки, серый — как тогда говорили, буклированный — пиджак: Витька выглядел элегантно. Брюки у него были узкие, ноги длинные. Я, на полголовы меньше его, ему завидовал. А он завидовал моему здоровью. И первый признал мой талант. Он был один из немногих, кто держался от местной шпаны на дистанции, а я так и норовил влиться в эту самую шпану. Мои мотивы сегодня ясны как божий день, — за ними была сила, в поселке, где обитали работяги, быть шпаной было престижно. То есть я хотел примкнуть к банде. А Витька, еще моя мама, хотели, чтоб я не примыкал. Мать довольствовалась и заводом, вокруг были десятки заводов. Мы жили, стиснутые их заборами. Мать бывала довольна, когда я устраивался на работу, пусть и в три смены, ей главное было, чтоб я был как все. Витька, мы с ним просидели три года на одной парте, знал, что я не как все, и хотел для меня как минимум Литературного института.

Рядом с ним жила Вита Козырева, дочь доктора, у них был красивый кирпичный особняк за забором. А за еврейским кладбищем, мимо его ограды, вниз к Тюренке, жила

Лариса Болотова. Потому Витька уходил из школы с ними. У них было два пути: или мимо моего дома, затем мимо радиозавода пройти через действующее большое и зеленое русское кладбище и выйти сразу к шоссе, по другую сторону которого лежало сухое, почти без деревьев, с проваленными плитами старое еврейское, и там уж Витьке и Вите Козыревой свернуть вдоль него налево, а Ларисе направо. Зимой же, и в грязь, а грязи бывали чудовищные, они чаще всего ездили в трамвае № 23 или 24. Через три остановки от школы трамвай подвозил их к месту назначения с другой стороны, остановка называлась «Завод “Электросталь”». С обеими девочками у Проуторова в разное время были романы. В конце концов они остались друзьями. С девочками проблем у него не было, к нему, высокому, бледному, черноволосому, они так и льнули. Печать смерти привлекала их? Скорее, то, что он был музыкант, артист, существо много выше классом, чем окружающие рабоче-крестьянские корявые ребята. Именно рабоче-крестьянские, ибо частный сектор сочетал крестьянскую жизнь огородов и садов с работой на многочисленных заводах. Это на его, на Витькином, лице я увидел в первый раз то, что называют «смертная мука». Мы шли как-то весной мимо моего дома, вдвоем, я пошел его проводить, и вдруг, впервые при мне, он попросил остановиться. Мы сели на край камня, чье-то надгробие, было тихо, слышно было монотонное и многоголосое жужжание пчел, ос и вообще насекомых. Витькино лицо, заметил я, стало серым. Он прикрыл глаза. И ответил на заданный вопрос: «Видишь, как хуево мне». При этом лицо его и выражало смертную муку, превращалось на моих глазах в неживую серую породу, покрытую пылью, увлажненную, ибо лицо водоточило. «Не смотри, — сказал он. — Сейчас, наверное, пройдет». Когда прошло, мы пошли дальше.

Я потом много раз вспоминал его. Его ко мне на балконе обращение. Еще до того, как он умер, потому что ну

никто так меня не упрекал, что я свою жизнь не умею строить. А когда он умер, я уже жил в Москве, это был август 1968 года, я узнал о его смерти и нарисовал картину. Называлась «Витя Проуторов умер», где в пунктирных линиях на черном фоне очертания Витьки, его красное длинное тело движется на том свете. Что там, кстати? Хотелось бы знать еще тут. Что? Кромешная чернота? Полумрак, где сгустками вдруг обозначаются безликие, бестелесные только души? Ничем не пахнет или пованивает болотом? Серой? Узнаем ли мы, попав туда, близких нам? Вопросов много. В сущности, одни только вопросы.

А умер он вот как. Вопреки запрещениям врачей, он все-таки женился. Запрещение ясно касалось сексуальной жизни. Напряг при оргазме мог уничтожить его сердце, как пить дать. Запросто. Но он женился и родил ребенка. Работал он рядом с моим прежним местожительством на Поперечной улице, на радиозаводе, мимо которого мы ходили из школы. Там работали в основном женщины и девушки, собирали в белых халатах электробритвы. Ну и он там работал, без особого напряжения работа — осторожно наматывали проволоку на моторчики. Было 23 февраля, он опаздывал, потому побежал. Прибежал на работу, подарок ему женщины подарили, ведь 23 Февраля, День Армии — мужской день. Вот и подарили. Он сел где-то сбоку с подарком: «Отдышусь сейчас», — говорит. Про него забыли, потом хватились: «Виктор, Виктор!» Тронули за плечо, а он умер. Ребенок после него вот остался, успел оставить после себя. Вот и я его в мире обозначил. 26 лет ему было.

Иногда он мне снится, с нарисованными усами. Я знаю, что это он мне снится с фотографии, где он и Вита Козырева, оба в кепках, с нарисованными усами.

Почтальоншин сын Кадик (Колька)

В 1982 году в Париже я быстро написал книгу «Автопортрет бандита в отрочестве». Родилась она из пары страниц текста. Я намеревался написать рассказ. Начинался он так:

Эди-бэби пятнадцать лет. Он стоит с брезгливой физиономией, прислонившись спиной к стене дома, в котором помещается аптека, и ждет.

Ждал он Кадика. Кадик, он же Николай Ковалев, был моим другом в тот горячий, истеричный кусок жизни между детством и юностью, который в старину называли отрочеством. Сейчас это слово исчезло из употребления.

Блондинчик, худенький парнишка на год младше меня, сын неизвестного отца и Клавы-почтальонши, жил в доме барачного типа. Эди-бэби недаром ждет его у аптеки. Ибо Колькин барак соседствовал с четырехэтажкой, в цокольном этаже которой помещалась аптека, единственная на весь Салтовский поселок. Сейчас те места поглотил город, а тогда из Колькиного окна на первом этаже барака была видна конечная трамвайная остановка, так называемый круг. Ребята так и говорили друг другу: «Пойду на “круг”», а если собирались сесть на другой трамвайной остановке, говорили: «Сяду на “Стахановском”». Название остановка получила от бетонного серо-черного здания клуба «Стахановский». Буквой Г сидел «Стахановский» в пыли и грязи Салтовского поселка. Рядом с клубом была летняя танцевальная площадка (зимой танцы происходили внутри клуба). Мимо клуба от трамвайной остановки к Материалистической улице шел пассажирский поток, и гуляли мы, подростки. На Материалистической

находился гастроном № 7, каковой нередко манил наше воображение, нуждающееся в стимуляции. Таков был нехитрый мир нашей Салтовской географии. В поселке жили рабочие, называемые «козье племя», их было подавляющее большинство, жили «блатные» — агрессивное меньшинство. Небольшое количество инженерно-технических работников, учителей, врачей (т. е. бюджетников, как сейчас говорят) растворялось в море рабочего люда и считалось тоже козьим племенем. Кроме этого, присутствовали «мусора». Три силы — простая космогония.

Колька Ковалев расширил мою вселенную, значительно увеличил ее. У него были друзья и знакомые в центре города. Кольку опекал и позволял ему таскаться в своем антураже саксофонист Юджин, лохматый чернявый тип. У Кольки у самого был саксофон, неизвестно как добытый, и он в те годы не часто, но изводил жильцов барака попытками выучиться играть. Учил он одну и ту же музыкальную пьесу «Караван», кажется, Дюка Эллингтона. Колька рассказывал мне о своей поездке в Москву на фестиваль, Колька побывал вместе с Юджином на «джем-сешенн», как он говорил, в Таллине. Я читал книги и знал о существовании других стран и городов. Однако книги были отдельно, а Салтовка отдельно. В лице Кольки я первый раз встретил человека моего возраста, который побывал за пределами Харькова и свидетельствовал: там есть интересная жизнь! Таскаться с Колькой за Юджином в центре города мне не понравилось. Мы были на положении малолеток, которых только и можно было использовать на побегушках. Я съездил пару раз и перестал. Когда пришел мой час, в 1964-м я познакомился с Линой и стал жить неожиданно для себя в самом-самом центре, где не жил никто, на площади Тевелева. Позже я встретил Кольку (пути наши разошлись), и он мне очень позавидовал. Даже почернел от зависти: «Ты теперь центральной чувак! Завидую!»

У Кольки Ковалева были стремления к лучшей жизни, чем та, которую давала наша Салтовка. Стремиться к ней он физически начал раньше меня. Я мирно читал книги и пытался грабить окраинные магазинчики, учился, фантазировал, что стану знаменитым бандитом. А Колька уже заводил знакомства. Он знал Юджина, еще нескольких музыкантов, отрывную девочку Людку Шепеленко (я так и не встретил эту знаменитость), он принадлежал каким-то боком к организации «Голубая лошадь»! И это была правда, поскольку Колька Ковалев говорил мне о «Голубой лошади» задолго до того, как подобная взрыву бомбы статья о ней появилась в «Комсомольской правде». («Голубая лошадь», о читатель, первая в СССР организация стилияг, этаких советских битников, была «разоблачена» в 1957 году!)

Колька ходил в бежевом альпийском пальто, произведенном в Австрии, пальто было с капюшоном. Оно, увы, и добыто было неновым, в Москве, на фестивале, и неуклонно старилось. В стремлении к лучшей жизни мы с Колькой купили желтого обивочного материала, я сделал замеры Колькиного пальто, перенес их на бумагу (я всегда был силен в геометрии и лет в 10–11 зарабатывал рубли, расчерчивая нашим соседкам-домохозяйкам выкройку), и по полученным выкройкам тетя Маша из Колькиного барака сшила нам две куртки с капюшонами. В этих куртках мы и ходили желтыми птицами по поселку. Еще из твердейшей стали один наш пацан изготовил нам четыре подковы на туфли. Пацан сломал несколько победитовых сверл на своем заводе, прежде чем высверлил двенадцать дыр для шурупов. Привинтив подковы к туфлям, мы с Колькой ходили, волоча ноги и высекая снопы искр. Если бы мы не были своими, нас за желтые куртки били бы на Салтовке каждый день, такой там был темный и непрогрессивный народ. Там ходили в сапогах, в серых тужурках, называемых москвичками, и в кепках. Какие уж там желтые куртки!

Мать моя Кольку любила. Колька и ругался меньше других ребят, и музыкой все-таки занимался. У него был магнитофон с бобинами, пленка постоянно рвалась, в их камерке пахло ацетоном. Колька ненавидел блатных и не любил шпану. Он никогда не мечтал, как я, стать большим бандитом, его моделью был Юджин, игравший на саксофоне в составе джазового оркестра. Потому мать моя, жаловавшаяся, что «улица уводит» у нее сына, считала Кольку «персоной грата».

Почувствовав себя юными мужчинами (Колька всю брился и пытался отращивать бороду уже в пятнадцать!), мы стремились сойтись где-нибудь с прекрасным полом. В школе я, конечно, сходил с ними, но школьные девочки были как сестры, до того много времени мы проводили вместе, что пол их стирался. На танцах были другие девочки, с вызывающе накрашенными губами, в праздничных нарядах, пахнущие духами и пудрой. Там встречались умудренные жизнью какие-нибудь двадцатипятилетние «вампы» — штукатурщицы или фрезеровщицы из общежитий (на Салтовке было много женских общежитий). Ну и что, что это были простые девки... Искусство обольщения и искусство любви штукатурщицы и фрезеровщицы знали не хуже Марлен Дитрих. И глаза у них бывали огромными, зелеными или жутко-черными. И им нравились молоденькие мальчишки. Но эти мальчишки их боялись. Колька ходил на танцы, но не очень охотно. И не очень-то танцевал. Больше пил с нами в туалете «Стахановского». В сущности, как большинство подростков, мы мучились без девушек. Постоянная подружка редко у кого была, хотя влюблялись часто. Я так и не могу вспомнить постоянную или даже сколько-нибудь случайную подружку Кольки. Он уволился с очередного завода, и перерыв до поступления на следующий затянулся. Мать ругала его «нахлебником». Малолетки и юноши, мы все тогда так жили. Вокруг была тьма-тьмущая больших заводов. Одни заводские

заборы окружали Салтовку. «Серп и Молот», «Турбинный», «Поршень», «Велосипедный», «Электросталь», а на выезде из Салтовки рельсы, повернув влево, вели желающего к огромному Тракторному заводу: ХТЗ. Человек, стремящийся к лучшей жизни, в этой вселенной был обречен. Осужден сдаться и совершать производственные операции в глубине заводских корпусов. Все мы противились. Но я все же проработал на «Серпе и Молоте» более полутора лет, в 1963–1964 годах. На «Велосипедном» я проработал неделю, на «Турбинном» — два дня. В октябре 1964 года я все же сбежал. Стал книгоношей в книжном магазине на Сумской улице. Замерзший, торговал книгами с лотков. Но все равно это была небольшая победа. Заводам не удалось сожрать меня с потрохами. Колька устроился на завод электробритв. Туда, где умер позднее в 1968 году мой школьный приятель Виктор Проуторов.

С удовольствием привожу здесь стихотворение, написанное мной много позже в Нью-Йорке, оно о том мире, глазами подростка, моими или Колькиными. О том мире заводов, куда нас загоняли.

...И мальчик работал в тени небосводов
Внутри безобразных железных заводов
И пламенем красным, зеленым и грубым
Дышали заводов железные зубы.

И ветер, и дождь за пределами цеха
Не были для мальчика грязь и помеха
А грязью был цех. Целовала природа
Когда умудрялся избегнуть народа

И выйти из скопища грубых товарищей
От адовых топок — гудящих пожарищей
Во двор, в снеготу, и черноту, в сырость мира
Стоять и молчать, тихо думать, что «сыро...

А если у ниток содрать кожуру
То видно, как жилы пронзают кору
И крыса, и суслик ведь роют нору...
И ели так жалко, что рубят в бору...»

Швыряли товарищи злобные шутки
Металлы гремели там круглые сутки
И таял там снег. И воняло там Гадам...
Народом. Заводом... Загубленным садом...

Чувствуется, что это стихи бывшего сталевара.

Постепенно я терял Кольку из виду. Встречались мы все реже. В 1963–1964-м, когда я работал в литейном цехе «Серпа и Молота», в три смены, мне вообще было трудно поддерживать какие-либо стабильные отношения с кем-либо. С третьей смены, если была зима, я шел домой спать; если было лето — отправлялся напрямиком на пляж. Вторая смена лишала меня начисто самого prime time для общения — вечера. Ну а первая смена бывала только одну неделю из трех. Я держался тех, с кем работал: Борьки Чурилова, Юрки Жирного, Женьки — мои ребята из бригады, вместе мы и гуляли, и ходили каждую субботу в кабак, выпивали свои 800 граммов коньяку. Зарабатывали мы очень хорошо. Один раз я получил 320 рублей зарплаты! Я коротко стригся, был здоровым и мускулистым, сшил себе один, два, три... в результате оказалось шесть костюмов. Колька иногда заходил к нам домой. Тем дело и ограничивалось.

Году в 1965-м или 1966-м он появился, чтобы пригласить меня на свадьбу. Будущую жену звали Лида, она была блондинка, старше его, и работала косметичкой. В «Дневнике неудачника» у меня есть такие строки:

Эди — как называл меня Кадик. Помнишь Кадика,
Эдвард? Эдик и Кадик, Кадик и Эдик — водой

не разольешь. Почтальоншин сын Кадик (Колька) учился играть на саксофоне. Парень он был неплохой, с талантами, Лидка его сгубила. Первая попавшаяся пизда. Старше его. Он от нее в снег плакать выбегал. Во время пьяной свадьбы.

Мы купили букет цветов, может быть, был и подарок, скорее всего, подарок был, Анна была сторонником исполнения обычаев и предрассудков, Анна надела платье в темных цветах, «каблуки» (иными словами, туфли на острых каблуках), и мы отправились. Я был не просто гость, но свидетель. Жена его, Лидия, я ее смутно помню, оказалась именно «вампом» из общежития, девушкой типа, который в изобилии встречался в «Стахановском» на танцах. Свадьба в России всегда вещь крайне двусмысленная, так как (обычно это невеста) невеста не отказывает себе в удовольствии пригласить по меньшей мере одного человека из прошлого. Видимо, считая, что имеет на это право, так как прощается именно с прошлым. По мере того как гости, невеста и жених напиваются, прошлое так перемешивается с настоящим и будущим, что времена приходится насильственно разъединять. У друга моего отрочества Кольки Ковалева была именно такая свадьба. Невеста со сбившейся фатой, пахучие салаты, человек из прошлого... Анна и я, бегущие по снегу за плачущим Колькой Ковалевым... (Ну что там ему было, 21 или 22 года.) Мы вернули его, успокоили, напоили еще сильнее. Подошла обеспокоенная, взрослая Лидия. У нее был виден живот. Мы ехали в такси и обсуждали случившееся. Я считал, что случилась трагедия, катастрофа, что, не успев начаться, семейная жизнь Кольки рухнула. Куда более умудренная жизнью Анна сказала, что отоспятся — и будет все в порядке... Я не согласился... Из всхлипываний товарища моего я понял, что люди из прошлого Лидии беспокоят его не в первый раз.

Прошли годы. В декабре 1989-го я провел у родителей в Харькове шесть дней. Мы с матерью сидели на чистой кухне — за окном зима, — и я задавал вопросы, а она отвечала. Кто умер, кто жив. Оказалось, покончил с собой мой школьный товарищ Виктор Головашов. Он окончил танковое училище и дослужился до майора, был уволен, сильно пил, работал рабочим на Тракторном заводе. Покончил с собой из-за жены, Людка его («...помнишь, сын, хромяя такая, с палочкой ходила, рядом жила») всю жизнь его мучила, он ее с солдатами заставлял, когда в гарнизоне в Средней Азии служил. «Б... оказалась», — осуществила мать над собой цензуру. И вздохнула.

— Слушай, а Кадик живет со своей? У них с самого начала все пошло плохо, плакал он на свадьбе...

— Да давным-давно развелись. Он с матерью живет, недалеко тут от нас, внука воспитывает.

— Внука?

— Ну да... Ты уезжал, у него уж сыну было лет десять. У сына тоже не заладилось с женой, внук хороший, Димочка, больше с Колькой и с прабабушкой живет. Колька к нам часто заходит. Вот, правда, что-то давно не был. Как раз бутылку оставил водки. «Пусть, говорит, стоит, Эдик приедет, выпьем».

— А что он делает, где работает? Он же на саксофоне играть учился, музыкантом стать хотел.

— Реставратором работает, церкви реставрирует, — сказала мать. Подумала. — Во всяком случае, так говорит.

— Думаю, врет, — сказал отец, входя на кухню. — Баланс подводите? Думаю, врет для солидности. Нам. Так как ты у нас знаменитым стал. Мы его тут в нашем районе случайно летом видели. Идет, ведра с краской несет, и рядом такая же рабочая братия тащит материалы. А какой-то чисто одетый на них прикрикивал. Разнорабочим, думаю, трудится. Он нас увидел. Но отвернулся

немедленно. Ну, мы с матерью не стали его окликать, не хотели в краску вгонять.

На следующий день было воскресенье. Я попросил мать позвонить Кольке. Я ни с кем не повидался, не хотел, но вот с ним решил увидеться. Что из этого вышло, о том есть сцена в книге «Иностранец в смутное время». Вышло, что к телефону подошла его мать, почтальонша: она сказала, что Колька умер, погиб, упал с лесов. Случилось это 9 декабря 1989 года, именно в день, когда я прилетел в Шереметьево, в Москву, после пятнадцати лет отсутствия в России.

Мать Кольки считала, что его столкнули с лесов. Там работали и зэки, кому-то он чем-то досадил, и вот отомстили.

Моя мать была в ужасе. И терзала себя за то, что отказала Кольке в глотке водки:

— Он бутылку принес, а я его коньяком угостила, у нас немножко оставалось. Бутылку «Пшеничной», он сказал, «тетя Рая, выпьем, когда Эдик приедет. Вы ее в шкаф поставьте». Я поставила. А когда уходил, уже в дверях говорит: «Тетя Рая, Раиса Федоровна, выпить еще хочется, налейте мне сто грамм, а бутылку я другую куплю». Я ему отказала, сказала: «Хватит тебе, Николай». Он и ушел, смущенный. Надо было налить ему сто грамм, но кто же знал, что это его последний был к нам приход.

Грустная судьба. Теоретически Колька мог бы стать Джоном Ленноном каким-нибудь. Он знал всю музыку того времени. Рассказывал мне об Элвисе Пресли, Гленне Миллере. А получилось, что лысый, бородатый чернорабочий упал с лесов.

«Радость-страданье — одно...»

Летом 1971 года, влюбленный в Елену Шапову, счастливый, я написал поэмы «Русское» и «Золотой век». «Золотой век» назван в издании «Ардиса» «идиллией», что как нельзя более соответствует моему тогдашнему состоянию. Персонажи идиллии — мои друзья и близкие люди тех лет. Многие уже умерли. Умерли Сапгир, Холин, Губанов, Гера Туревич, Иосиф Бродский, Цыферов (раньше всех, чуть ли не в 1972 году), Василий Ситников (пару лет назад в Америке, всеми забытый). Умер Игорь Ворошилов. И умерла Анна Рубинштейн, моя первая жена. Вот как, влюбленный в новую, другую, я пишу о ней в «Золотом веке», добрый и к ней, потому что мне было тогда хорошо:

Анна Рубинштейн сидела на садовой скамейке, толстая, красивая и веселая. По обе стороны ее сидели два юноши совсем незрелого вида. У них были рубашечки в полоску. Волосы у них блестели. Брюки широко расходились в стороны. Оба не сводили с нее глаз.

Это ретроспектива в прошлое; может быть, это я сам и Толя Шулик в Харькове сидим с нею в парке Шевченко. На самом деле «красивая и веселая» многие годы провела в психиатрических клиниках. С 18-летнего возраста она получила инвалидность «по шизе», как она говорила, ученые же доктора называли ее недуг «маниакально-депрессивный психоз, частичная шизофрения». Диагноз, я полагаю, абсолютно неверен, потому что тот период, который мы с ней прожили с 1965 по 1970 год, был одним ровным, вполне веселым, хотя и бедным, циклом, и только осенью 1970 года она вдруг сдала. Однажды, сидя в «нашей» с нею комнате,

на Красных воротах, в старом доме рядом со сталинской высоткой (по совпадению я поселился там в 1994 году в мастерской Кати Леонович, поселился ненадолго опять с Наташей Медведевой и тоже накануне конца, разрыва). Сидя за столом вечером, мы поужинали. Анна вдруг свистящим шепотом сказала, глядя на меня с вызовом: «Я знаю, ты хочешь меня убить!» — «Ты что, Анна, ты что говоришь такое!» — озлился я, но, всмотревшись в ее фиалковые глаза, остановился. Глаза были абсолютно безумны.

Шесть лет она была мне подругой, женой, «партнером по бизнесу выживания», человечеством, духовником, недо-тепой, неорганизованным элементом, чтобы воспитывать. Все шесть лет я одновременно и гордился ею, и стеснялся ее... Гордился, потому что седая, крупная, взрослая, она общала серьезность моему существованию. Я был с виду совсем мальчишкой, соплей зеленой, казалось, меня можно было переломить об колено. Когда мы познакомились, мне был 21, а ей 27. У моих сверстников если и были подружки, то глупые девочки, их сверстницы, молчаливо глядевшие открывши рот на своих спутников жизни — поэтов, художников — с обожанием. Экзотическая личность, Анна могла высмеять любого зарвавшегося «гения», язык у нее был острый, ярко-фиолетовые глаза беспощадно видели насквозь. Приглашая меня, некоторые мои знакомые просили: «Только приходи, пожалуйста, без Анны... Ты понимаешь, она, ну, с ней тяжело... Она людям хамит; пообщавшись с ней, человек ходит как оплеванный». В трамвае, бегающем от Преображенки на Открытое шоссе, хмурые паханы вставали, уступая ей место. Чем более, как говорят, «морда просила кирпича» у такого бандюги, с тем большим уважением предоставлялось место. Кого они в ней видели? Слегка курносый нос, эти глаза, большой зад — кого они в ней видели? Праматерь Еву? На еврейку она редко бывала похожа. Обычно становилась похожа, попадая в психбольницу.

Я ходил с нею повсюду вместе очень много, так много и часто, как ни с одной из своих жен. Может быть, потому что, как я уже перечислил, была она мне и подругой, и партнером по бизнесу выживания, и многое другое.

Начнем с партнера по бизнесу выживания. Вот как это выглядело. В каком-то окраинном магазине Анна нашла очень толстый, набивной, цветами, чешский ситец. Мы стали закупать его небольшими партиями, и я изготовлял из него простые квадратные сумки с двумя ручками. В ручки вставлялась внутрь для крепости и жесткости тесьма. Нашив десяток сумок на подольской верной зеленой машинке, мы с Анной отправлялись в ГУМ, я со всей партией оставался на улице, Анна же, взяв пару изделий, шла продавать их. Мою продукцию охотно брали. Модель мы скопировали с попавшей Анне в руки, бог весть как, иностранной сумки. Расходы на одно изделие составляли 1 рубль 15 копеек, а продавали мы его за три. К сожалению, деньги у нас не держались, но мы были самостоятельной единицей и оплачивали свои временные прибежища в коммуналках. Обычно 30 рублей в месяц. Прибежища менялись часто: с Открытого шоссе нас согнал КГБ. Соседи, медсестра Нина и инженер Дима, проведя бессонную ночь, все же наутро поведали нам, что приходили двое в штатском, просили Нину и Диму вынимать из общего мусорного ведра все мои бумаги и копирку и вообще докладывать обо мне. «Вы стоите на очереди на квартиру у вас на заводе, между прочим? — спросили штатские. — В наших силах убыстрить вашу очередь или замедлить ее». «Вы хорошие люди, — сказали нам Нина и Дима, — мы решили вам признаться». В 15 минут тогда «хорошие люди» сложили свои вещи, взяли две машинки, Анна поймала такси, и мы отбыли. Несколько дней провели у кого-то (обычно это были: Кушер, Лозин или Алейников), пока Анна не нашла на Банном переулке комнату. Она была в этом незаменима: умела подойти к «хозяйкам» и «хозяевам», никому в голову

не могло прийти, что у седой глазастой женщины юный муж и безбашенные, как сейчас говорят, друзья. На Банном же помещалась прямо на улице квартирная стихийная биржа. И до сих пор, кажется, существует. Мои родители с 1968 года стали высылать мне 25 рублей в месяц на Главпочтамт до востребования. На меня сейчас вдруг нахлынула волна теплой благодарности к родителям, не разделявшим никогда ни моих культурных убеждений, ни тем паче политических, вообще ахавшим от ужаса перед моей жизнью во все времена. Эти 25 рублей ой как пригождались! Но мы с Анной не были беспомощными тюхами и, если бы ставили обывательские цели, я думаю, преуспели бы быстрее и лучше других. Я шил, научился этому сам, мог сшить и пиджак, и брюки, мог бы стать Славой Зайцевым... (А что? Легко!) — вкус у меня был, умение было. Желания не было посвящать этому жизнь. Я ограничивался минимальным заработком, дабы писать стихи. Тогда я писал стихи. Анна тоже была девушка хоть и задумчивая и глубокая, как бездна, но пропадать мы не умели.

Характерный эпизод. Утро 22 февраля 1968 года. Мой день рождения. Просыпаемся в комнате — на Казарменном переулке. В окне: срубы, бревна, зима, Россия XVI века в окне. Встали: денег нет. «Твой день рождения, Эд! Что делать будем?» — «Да и черт с ним! — сказал я. — Кто-нибудь из ребят придет, что-нибудь принесет». — «А я хотела, чтоб мы вместе отпраздновали, куда-нибудь пошли... слушай, давай я займу у Людмилы (наша квартирная хозяйка. Трое детей, муж алкоголик — подсобный рабочий продовольственного магазина, бывший директор техникума. Занимал комнату против нашей), пойдём в ЦУМ, может, что выбросили...»

Заняли 15 рублей. Пошли. В ЦУМе «выбросили» красивые варежки. Отстояли очередь, взяли по две пары по 3 рубля. Пошли в ГУМ, продали по 8 рублей. Вернулись,

опять отстояли в очереди, опять купили четыре пары. К темноте у нас было в кармане около 50 рублей. Отделив пятнадцать для Людмилы плюс пару варежек ей в подарок, пошли в ресторан. Впоследствии Анна достигла куда большего в области спекуляции, наивысшим ее достижением была покупка и продажа вместе с ее подружкой Аллой Воробьевской шуб. Да-да. Она стала спекулировать шубами. Правда, деньги она умудрялась прогуливать.

Выглядели мы тогда так. Анна: пальто цвета темной вишни, буклированное, на ватине, со светлым меховым воротником. Совместная работа Стеллы Соколовской, племянницы Анны, и моя. На голове — капор, сшитый из теплого шарфа: голубые, розовые, фиолетовые полосы. На ногах меховые коричневые сапоги, щеки цвета красного кирпича. Я, ее спутник: пальто ратиновое черное, однобортное, из того же ратина аэродромная кепка на голове, сапоги американские армейские — остаток былой харьковской роскоши. Такая вот пара завоевателей Москвы.

«Анютка», «Анютелла» — так она себя называла, еще «блудная дочь еврейского народа». Я полагаю, я был для нее спасением, стабилизирующим фактором, дисциплинирующей силой, Мужчиной, сильным мужем. Как утверждают все знавшие ее и меня современники — она меня боялась. Ну, как боялась — я вносил в ее жизнь строй, смысл, был ее личным вождем. Создавал порядок в ее жизни. Сама-то она была без руля и ветрил. Потому она боялась потерять этот смысл и строй. Я на нее прикрикивал.

Жизнь ее вкратце такова. Она из умной еврейской семьи. Отец Моисей — директор НИИ, правда, рано умер; тетка — профессорша, заправляла химией на Украине и была репрессирована. Брат отца (его Анна ненавидела) — академик. Мать Циля Яковлевна (от нее у Анны наследственная «шиза») работала когда-то в научной библиотеке. Когда мы познакомились и я стал жить с Анной в соседней комнате,

Циля Яковлевна запомнилась мне сидящей у зеркала с распущенными снежно-белыми волосами, курящей папиросу. На выпускном вечере в гимназии Циля Яковлевна декламировала стихотворение «Девушка пела в церковном хоре...». Прожив 57 лет, я оцениваю это стихотворение Блока как очень страшное. Девушка пела о всех, ушедших в море, пела, что все вернутся, все будет хорошо. Все верили. Но Блок заканчивает:

И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, — плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Страшно. Никто. На самом деле не придет.

В ее жизни была уже артистическая компания и до меня. Ей тогда было 17–18 лет. Ее муж (честно говоря, я даже не уверен, что официально они были в браке, то есть расписывались ли) Гастон ввел ее в среду своих друзей. Помимо Брусиловского, туда входил поэт Бурич (переводчик польских поэтов и поэт, женатый на поэтессе Музе Павловой), довольно известный кинокритик Черненко, были еще, очевидно, люди, но других я не запомнил. Когда у Анны впервые обнаружилась «шиза», во время брака или романа с Гастоном или после, мне также неизвестно. Известно, что с 18 лет она периодически получала пенсию по инвалидности. Я видел ее фотографии в 18 лет, где она неземная девушка, куда там юной Элизабет Тейлор! И вот из такой неземной она к 1971 году превратилась в исцарапанную, деформированную, толстую, безумную тетку! Где-то после 18 (до или после ухода Гастона, до начала болезни или после, неизвестно) ее изнасиловала группа людей. Не знаю подробностей, мне известна лишь одна фамилия: Шевченко. Люди эти были арестованы и осуждены. Опять-таки, степень влияния этой трагедии на жизнь и психику Анны мне не удалось

установить. Она всего несколько раз упоминала об этой истории, не проявляя при этом ни истеричности, ни испуга.

Мы познакомились в октябре 1961 года в магазине «Поэзия», где она работала продавщицей. Всего продавщиц в «Поэзии» было четверо: Валя, Света, Люда и Анна. Я тогда уволился с завода «Серп и Молот», где проработал сталеваром год и восемь месяцев. Рабочий такой парень: мышцы, коротко стрижен, хаки-штаны, очков не носил. Привел меня в «Поэзию» коллега-сталевар Борис Чурилов. Книголюб, как тогда говорили. То есть Борис покупал книги, монографии по искусству и стихи. Потому он знал и других книголюбов и продавцов. Эти все истории давно минувших дней довольно пространно описаны в «австро-венгерском», как я его называл, романе «Молодой негодяй». Романом это произведение можно назвать лишь условно, все герои невымышленные, скорее это развернутое воспоминание об эпохе застоя в широколиственном Харькове. Записал я «Молодого негодяя» уже в Париже.

По-моему, когда мы познакомились, Анна делила со своей подружкой Викой Кулигиной одного мужика на двоих: бывшего мужа Вики, Толика. (Русская эта привычка называть взрослых дядь Толиками, Сашками, Кольками — не от инфантильности ли моего народа происходит? Правда, инфантильность соединяется со свирепостью. Какой-нибудь Толик может отправить вас на тот свет по пьяни, а утром чистосердечно не поймет, за что. Дети-то жестоки.) Толик был книголюб, книгочей и пьяница. Он работал в котельной. На кочегара был не похож, носил очки в черной оправе, зеленое импортное шерстяное пальто. Был еще мальчишка, тоже Толик, Шулик, по прозвищу Беспредметник. Шулик стал абстракционистом, скорее из любви к необычному, к современности, к экзотике. Светлый блондин с седым клоком, добрый пацан (ему было вообще девятнадцать лет), Толик жил в одной квартире с матерью и старшим братом,

которого презрительно называл «козлом». Баловень семьи, Беспредметник владел отдельной комнатой, где врубал на полную мощность «Битлз» или Адамо и позировал перед мольбертом с кистью в руках, одновременно наблюдая себя в большое зеркало. Анна лишила Шулика девственности.

Я впервые, как бы это сказать, чтобы не обидеть ее, лежащую на старом кладбище в центре Харькова, вход с улицы Пушкинской, 102, я впервые вступил с ней в интимную близость 5 января 1965 года. (Много лет спустя, в Америке, я обнаружил, что это день моих именин, по католическим святцам, ибо имени Эдуард в православных нет.) Имея с ней интимную близость, я решил, что ни с кем другим она иметь интимную близость не должна. Потому я стал обременять Анну собой. Я сидел мрачный на сборищах поэтов и художников в ее комнате, напивался и молчал. Дело усугублялось еще тем, что сказать мне было нечего, я не знал книг, о которых они говорили, не видел холстов. Интеллектуальный мой багаж был более чем скромным. К концу вечера я иногда скандалил, выгонял или пытался выгнать тех парней, к которым ее ревновал. Она злилась, называла меня пьяным «хазером», «хазерушкой». Выгоняла меня, я не уходил. Прибегала на шум Циля Яковлевна, пыталась всех примирить. В конце концов я отдалил всех «женихов» и воцарился в доме. Некоторое время я делал вид, что ухожу каждую ночь, и мы закрывали воображаемые двери... «Спокойной ночи, Эд!» — «Спокойной ночи, Анна!» И обратно в комнату. Обман облегчался тем, что большая, метров тридцати комната Циля Яковлевны и маленькая, двенадцати или пятнадцати метров, «наша» имели обе выходы в коридор и одновременно сообщались дверью друг с другом. Сама квартира находилась в глубине старого дома. Нужно было подняться вверх по лестнице, войдя с Бурсацкого спуска, пройти по «прямой кишке» — по обе стороны ее громоздились кухонные столы, в кишку выходили двери многочисленных

комнат, — и перед посетителем вырастала в конце кишки дверь. На двери были звонки, и за дверью жили три семьи счастливых; Рубинштейны, мать и дочь, среди них. Счастливы, потому что у них была своя вместительная кухня и как-никак не два десятка соседей, а лишь двое. К лету Циля Яковлевна все же прекратила «эту комедию» и однажды, выйдя в коридор во время фальшивого расставания, сказала: «Анна, Эдуард, прекратите эту комедию, я знаю, что Эдуард ночует здесь. Пусть живет открыто».

Думаю, что безошибочно Анна хотела семью, пусть и такую ненормальную, какая получилась у нас. Женщине нужен мужчина, чтобы ее не кидало по жизни, как щепку. Особенно если ты «шиза». Хотя ты и производишь впечатление на жиганов подворотен своей крутостью, и тебя уже давно изнасиловали, и сама ты дефлорировала десяток юнцов, и накрашена ты так, что бабки у ломбарда в гневе плюются, руководитель жизни нужен. Я думаю, она гордилась, что муж у нее молодой парень. «Муж», ну, мы так никогда и не расписались в соответствующем учреждении, но кем я еще ей был? Шесть лет жизни вместе.

«Ля богема!» — восклицала порой Анна в упоении. Жизнь, которую мы вели, ей нравилась, духовно подходила. Говорить о том, что такая жизнь привела ее к самоубийству, неразумно. Вся ее жизнь привела ее к самоубийству. Вся ее жизнь была «Ля богема!».

Я ушел из ее жизни в 1971 году, но «Ля богема» продолжалась, хотя уже и не в столь блистательном варианте. Благодаря пришедшему со мной в клинику к ней на свидание старику Кропивницкому она стала рисовать. Яркие, чудовищные картины, не то безобразие пятен, не ту какофонию цветов, какие создают сумасшедшие, но яркие портреты полубезумия. Ее картинку покупали, у нее появился вдруг в жизни некий армянин. С армянином она ездила в Ереван, жила там, и в результате я позднее видел слайды ее

картинок в музее современного искусства в Ереване. Последний период ее жизни наблюдала только моя мать. На улице Маршала Рыбалко (дом на Тевелева снесли, и ей дали квартиру) Анна, насколько я могу понять, устроила притон. Приходили друзья ее подружки Вики Кулигиной, бандиты, выпивали, кричали, ругались. Улица Маршала Рыбалко еще большая дыра в хаос и окраина Харькова, чем та окраина, где живут мои родители. Вот в этой дыре и обреталась последние годы подруга дней моих суровых, половину времени она, впрочем, проводила в психиатрической больнице. Толстая, страшная, разбухшая, однажды осенним днем 1990 года (даже точная дата неизвестна, в октябре или ноябре) Анна пришла домой на Маршала Рыбалко, отпросилась из психбольницы на выходные помыться. Помылась, накрасилась, оделась, куда-то собралась, то ли обратно в психбольницу, то ли в гости (она ходила и к моим родителям, хотя в конце концов стала невыносимой), и вдруг решила. И сколько же все это будет продолжаться? Вика, такая же старая и седая, пьяные бандиты-юнца, грязь, Харьков и жизнь вообще. Анна поняла, что дико устала. Что хочет вечного покоя. Она сняла кожаный ремень со своей сумки, сделала петлю, попробовала, хорошо ли затягивается, приладила ремень к крюку в коридоре, стала на стул и прыгнула. Выдержал крюк, и ремень выдержал ее несчастную тушу.

Возможно, она повисела бы годы. Но Анна не выключила телевизор, и соседи постоянно слышали звук. Еще она не выключила свет в коридоре, и в дырку от глазка (выбили гости-бандиты?) было видно — горит свет. Соседи в конце концов застучали в дверь. Никто не отзывался. У одного из соседей оказался той же системы ключ. Дверь, повозившись, открыли. Она висела тяжело, накрашенная, как обычно: и веки, и ресницы, и под глазами тени. Вызвали сестру из Киева, похоронили Анну на старом кладбище, рядом с отцом, там у них было место. Квартиру обменяли.